

Руслан Нурушев
Сказки из подполья



Руслан Нурушев
Сказки из подполья

«Издательские решения»

Нурушев Р.

Сказки из подполья / Р. Нурушев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-851254-4

Фантасмагория. Молодой человек — перед лицом близкой и неизбежной смерти. И безумный мир, где встают мертвые и рассыпаются стеклом небеса...

ISBN 978-5-44-851254-4

© Нурушев Р.
© Издательские решения

Содержание

Часть – 1: «Талифа, куми»	6
I	6
II	11
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Сказки из подполья

Руслан Нурушев

© Руслан Нурушев, 2017

ISBN 978-5-4485-1254-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть – 1: «Талифа, куми»

I

– Са-а-ша! Просыпайся. Уже десять.

Я с трудом приоткрыл слипшиеся веки. Декабрьское солнце, тусклое и унылое, искося заглядывало в комнату, на стенах – серые блики. В дверях неловко переминалась мать.

– Встаешь?

Чуть сутулясь, теребя поясок, она смотрела робко и неуверенно. Еще окончательно не проснувшись, с тяжелой головой, я хмуро отвел взгляд.

– Сейчас встану, – и откинулся на подушку. Вставать не хотелось. От ночной «дозы» мутило, во рту – привычная сухость, зато простыня повлажнела от пота.

Мать просеменила к кровати.

– Ну вставай, Саш. Позавтракать надо. Потом приляжешь опять если что.

Она ласково коснулась моих волос, но я откинул ее руку.

– Не надо этого, мам! – раздраженно повысил я голос. – И... и глупостей этих не люблю!

Ее губы задрожали, а в глазах предательски блеснули слезы, – на лице, сразу осунувшемся, застыло мучительное выражение жалости и обиды. Я скрипнул зубами.

– Ну не обижайся, Саш, – силилась она улыбнуться, – я же просто так.

Я отвернулся к стене.

– Не смотри на меня так! Не надо!

– Всё, всё, – шмыгая носом, она вытерла слезы, – ухожу.

На кухне нудно зашумела плита. Я устало прикрыл глаза. Как всё надоело, быстрее бы уж кончилось...

Болей сильных пока не было – принятое ночью обезболивающее действовало, – и, расслабившись, я тупо пялился в потолок. В ушах, словно заложенных ватой, плыл монотонный гул. Слегка тошнило, голова кружилась, и мысли текли вяло и беспорядочно, пустые и беспредметные, скорее их обрывки. Я не заметил, как впал в странное оцепенение. Мелькали непонятные картины, казалось, я где-то еще: я брел по берегу озера, под ногами хрустела галька, где-то всплескивало, неумолчно трещали цикады, а вокруг сонно ворочалась летняя ночь. Пахло осокой, подгнившим камышом, ветерок качал космы ив, застывших над водой; высоко зависла луна, и бледными искрами терялись в ее свете звезды, – всё дышало миром и спокойствием...

– Са-а-ша!

Я вздрогнул.

– Завтрак готов...

И очнулся. И вновь тоскливый зимний свет, серые стены, а за окном – привычный шум города. Я с раздражением отбросил теплое, пахнущее старостью одеяло и зло выдохнул. Достали! Кое-как натянул брюки, но на рубашку сил уже не хватило. Покачиваясь от слабости, прошаркал в ванную. Включил кран, с отвращением плеснул в лицо холодной водой и зябко пожегся. На душе было муторно и тошно. В дверях появилась мать.

– Я там пасту новую купила.

Я посмотрел на полку.

– А зачем? – и зло рассмеялся. – Хочешь, чтоб у меня и в гробу голливудская улыбка была, а?

Мать побледнела, – зажмурился глаза, закусив губы, она попыталась сдержать слезы, но плечи уже затряслись в беззвучных рыданиях. Всхлипнув, она бросилась в комнату, откуда вскоре раздался тихий плач. Я чуть смутился. Зачем я так? Этого не знал я и сам.

Я повернулся к зеркалу – незнакомое, словно чужое лицо: тонкие, почти бескровные губы язвительно кривились, глаза лихорадочно поблескивали, щеки запали, кожа пожелтела.

– Да-а, – протянул я разочарованно, – неважно выглядите, маэстро, неважно...

Не зная зачем, я ухмыльнулся и состроил отражению рожу – оно ответило тем же. Я вздохнул и опустил голову, – на душе стало совсем гадко. Злоба ушла, и осталась лишь пустота. Почему всё так? Так глупо, так тоскливо...

И вновь посмотрел в зеркало.

– Что ж ты мать свою мучаешь, ирод? Разве она виновата?

Отражение погрузтело и покачало головой, но ничего не ответило. Я махнул на него рукой – что с тобой разговаривать!

...Когда доплелся до кухни, мать тихо сидела за столом. Она коротко шмыгнула, голос ее был глух.

– Садись, а то остынет всё.

На меня она не глядела. Я вздохнул.

– Ладно, мам, извини, – и потупился. – Прости, пожалуйста.

Она подняла глаза и слабо, с грустью улыбнулась.

– Я и не обижаюсь. Я всё понимаю, тебе ведь сейчас так... так трудно.

И горестно покачала головой, взгляд ее скользнул куда-то вдаль и застыл.

– Зачем ты отказался? Тогда, осенью, когда не поздно еще было? Ведь Алексей Николаевич тебе всё объяснил! Зачем?!

Я шагнул к ней и молча притянул к себе. Мама, мама...

– Успокойся, мам, – я гладил ее волосы, сильно поседевшие за последние месяцы, – теперь жалеть уже нечего.

Всё стало окончательно ясно только вчера...

... – Что именно? – Алексей Николаевич, убрав анализы, невозмутимо взирал на меня. – Прогноз?

– Да, – я вяло усмехнулся, чуть кривясь от подступавшей временами боли. – Имею же право?

Я сидел в кабинете Алексея Николаевича, приятеля отца, – когда тот был еще жив, они работали в одном отделении, здесь, в онкологии, и в последний год отец с ним, можно сказать, сдружился. Частенько заглядывал к нам и домой, просиживая вечерами, порой допоздна, но со смертью отца посещения почти прекратились. Хорошо ладил Алексей Николаевич и с матерью, хотя я его почему-то недолюбливал и почти не общался.

– Имеешь, – и он с достоинством откинулся на спинку. – Хотя...

– Говорите, не бойтесь, – раздраженно перебил я, – в обморок не упаду. Только честно! Метастазы есть?

Он вздохнул и, запнувшись, кивнул.

– Да, пошли.

– Значит, всё?

– Ну, как тебе сказать... – Алексей Николаевич уклончиво помялся, и его рыхлое полное тело колыхнулось. – Опухоль уже, да, в целом неоперабельна. Но я ведь предупреждал, тогда еще. Но ты сам всё решил. Что я мог сделать? А в сентябре у тебя еще были шансы: опухоль-то не самой агрессивной формы...

И полилась медицинская заумь. Он говорил неторопливо, правильно, можно сказать, основательно (хотя и общими местами) – в нужных местах делал паузы, проговаривал окончания, дополняя, когда надо, жестами холеных белых рук. Он вообще был человеком, что называется, положительным и, несмотря на вечную невозмутимость, застывшую в бесцветных водянистых глазах, относился к работе щепетильно.

– И сколько осталось? – я постарался спросить спокойно, отстраненно.

– Это сложный вопрос, – он пожевал губами и покрутился в кресле. – Всё очень индивидуально. Конкретный прогноз я вряд ли дам.

– Ладно, спасибо и на этом, – буркнул я хмуро и чуть запнулся. – Но рецепты, надеюсь, будут?

– Ну, как тебе сказать: с анальгетиками твоими, конечно, не всё так просто, бывают проблемы. Но для тебя, по дружбе, сделаю, что смогу. Я тут уже выписал, – и достал из стола розовый бланк. – Как закончится, приходи – что-нибудь придумаем. Но старайся соблюдать дозу и режим приема. И пока по той же схеме.

Я несколько торопливо схватил рецепт.

– Постараюсь, – и, повертев листок, глянув на просвет, усмехнулся. – М-да, жизнь в розовом свете...

Я сунул бланк в карман, где уже лежала полупустая упаковка обезболивающего, и вздохнул. Ладно, пожить в кайф не вышло, так хоть подохну под кайфом.

– Вообще-то, знаешь, – смущенно спохватился Алексей Николаевич, – не надо только отчаиваться. Бывали ремиссии и на поздних стадиях. Да, это редко, но ведь и ты молодой, организм не изношен, и иммунитет еще есть. Так что возможно всё. Поэтому советую...

– Припарки, – злорадно подсказал я и скривился от стрельнувшей боли.

– Что? – не понял он. – Какие припарки?

– Которые мертвым ставят! – скрипнув зубами, я зло рассмеялся, скорее даже сgrimасничал. – Говорят, очень помогают!

– Саш! – он укоризненно поджал губы. – Я не понимаю твоего отношения. Речь о твоей жизни!

Я выдохнул – фу, отпустило! – и вяло вытер лоб от испарины.

– В том-то и дело, что о моей, а не вашей.

И, уже не скрываясь и не обращая внимания на хозяина кабинета, достал упаковку и закинулся «дозой», запив водой из графина. Алексей Николаевич хотел, видимо, высказать мне, но я перебил:

– Не беспокойтесь, – пошатываясь, поднялся я, – я уже ни в чем не нуждаюсь. Спасибо за заботу, но занимайтесь лучше живыми. Оставьте мертвым хоронить своих. Заодно приглашаю на похороны, – и хрипло хохотнул, привалившись к стене. – Официальное приглашение вышлю позже.

Притворив дверь, я проковылял в холл, где отдохнул на кушетке, собираясь с силами. И вскоре брел, тяжело переставляя ноги, по узким тротуарам, серым от непросыхающей грязи. Низкое мутное небо тоскливо и уныло сыпало мокрым снегом, и город исчезал в туманной мгле, а под ботинками противно хлюпала жижа. Немногочисленные прохожие спешили по делам, не обращая внимания, и лишь некоторые окидывали равнодушными взглядами.

Я запрокинул голову, подставляя лицо снегу и ветру. Вот и всё... И глубоко вздохнул. Вот и всё, маэстро. Окончен бал, погасли свечи. *Finita la commedia*... Вокруг раскинулся город, – он жил своей жизнью, но это уже не было моей жизнью. Надвинувшаяся смерть словно стеклянной стеной отгородила от всего, – мы были чужими, будто из разных миров, – и сквозь нее всё казалось призрачным и нереальным. Может, и нет города, прохожих, серого неба? Может, это только призраки, фантомы, наваждения? Или я сам? И криво улыбнулся. Призрак бродит в городе призрачном под серым призрачным небом... Мы были чужими, хотя и раньше никогда не чувствовал здесь «своим»: я никогда не любил реальность, – ведь она постоянно сопротивляется или вовсе игнорирует, что, наверно, еще хуже. Я устало смотрел на прохожих, их хмурые лица. Спешите, спешите, а от костлявой и вам не убежать. Сейчас вас много, а я один, но когда-нибудь и вы останетесь только наедине с собой. Я покачал головой. Странно: можно прожить всю жизнь в толпе, в семье большой, на людях, а умирать всё равно в одиночку.

И пусть у тебя куча друзей, родных, близких, когда придет час – ты один, и ничего сделать тут нельзя. Один родился – один умирай...

Я не чувствовал страха, а боли научился глушить «дозами». Страх – это в прошлом. Я давно, наверно с того злополучного сентябрьского дня, когда отказался от операции, готовился именно к такому исходу. Осталось лишь безразличие – надоело всё. В конце концов, все сдохнем раньше или позже – какая разница, в двадцать пять или в семьдесят? Я не жадный до цифр – пусть двадцать пять. Все дороги ведут в Никуда, куда бы ни вели – в небеса ли, в ад. Ничего ведь нет в этом мире, одна только видимость, за которой не выход из пещеры, а лишь пустота.

Я плелся мимо остановки. Под бетонным козырьком женщина в рыжей шубке выговаривала насупившемуся мальчику лет шести, видимо сыну:

– Вов, если еще раз увижу, что сосульки ешь, будешь дома сидеть, никаких прогулок, ясно? Или ангину заработать хочешь?

Я остановился и вяло усмехнулся:

– Слушай, Вова, маму. Она правильно говорит.

Женщина удивленно воззрилась, но я ничуть не смутился.

– Береги здоровье смолоду, Вова! Оно очень понадобится в гробу – только там понимаешь его истинную цену!

Я захохотал и поковылял дальше. Ангина! Меня разбирал смех. Не кушай, Вова, сосульки! Не пей, не кури, здоровье береги! Как говорится, было бы здоровье, остальное будет. А что будет? Здоровеньким помрешь? Черви «спасибо» за мясо аппетитное скажут? Нет уж, увольте! В гробу я видел ваше здоровье! Кормить я их не буду – пусть давятся костями! Я зло сплюнул. И на «круговорот веществ» ваш и «вечность природы» молиться тоже не собираюсь! Сами радуйтесь, что будете жить вечно – ...как частичка червя!

Я поднял голову. По-прежнему сыпало снегом – белой тоской, и тоскливо чавкала под ногами каша. Я рассмеялся. Зачем рождаться, если всё равно умрешь? Зачем умирать, если уже родился? Разве не глупо? И зачем тогда всё это? Это небо? Этот город, люди? Кто их выдумал и для чего? И я не понимал, а только смеялся. Смех распирали изнутри, – прислонившись к столбу, я смеялся, не в силах совладать с собой. Ведь глупо всё и бессмысленно! Прохожие испуганно шарахались, но мне было не до них. Это был странный смех: сухой, судорожный, рвавшийся помимо воли, и я не мог ничего поделать, не мог остановиться. И только когда порыв ветра, колючий и резкий, швырнул в лицо пригоршню снега, я очнулся. Я утерся, а потом меня вырвало желчью. И плохо помню, как добрался домой...

...Я застывшим взглядом смотрел в окно – снег всё сыпал и сыпал, но сегодня не таял – похолодало. И, взглянув затем на мать, вздохнул.

– Ладно, давай завтракать, мам.

Но завтракала только она, а я лишь пытался – и аппетита не было, и мучила тошнота. Сидели молча – разговаривать было не о чем.

После завтрака мать пошла в аптеку, а я остался дома – из института я давно уволился, аспирантуру бросил.

Вскоре вновь появились боли – пока не столь мучительные, сколь нудные и тягостные. И снова вырвало. Угрюмо дотащившись до комнаты и не зажигая света, я с нескрываемым отвращением ко всему упал в кресло и вытянул ноги. Господи, когда же всё кончится?! Но затем наконец-то начала действовать утренняя «доза». И я задышал реже, бесшумными толчками в груди билось сердце, веки отяжелели, вокруг сгустилась тьма. Где я?...

...Я сидел перед костром, у озера, а вокруг тихо вальсяжничала летняя ночь. Отраженным безмолвием застыла в вышине луна, и рябила амальгамой на воде, а поблекшие звезды скромно жались по небесным углам, но я видел только пламя – разве огонь не чудо? Красноватые блики менялись, прыгали, играли зыбкими тенями на руках, земле, прибрежных валунах, и казалось,

что за их игрой можно наблюдать вечно – ничто не повторялось, всё колыхалось, сплеталось, и каждый раз по-новому. Разве можно не любить то, что неповторимо?

С озера холодило, но я не замечал – магия огня не отпускала, и, словно заколдованный отблесками, я лишь неотрывно смотрел в пламя. Разве не чудо? Казалось, что и сами огненные языки, поддаваясь своим же чарам, замирали причудливыми фигурами – или это замирало время? И была ключом тишина – кипящая, звенящая. Она кружилась водоворотом, обволакивала дремой, растворяя и затягивая на дно, и, погруженный в оцепенение, я в первый миг даже не заметил, как выступила из мрака высокая, сухопарая фигура.

– А ты умеешь слушать тишину.

Я вздрогнул. Что? И поднял глаза. Опершись на посох, передо мной стоял незнакомец и спокойно, скорее даже бесстрастно, хотя и с долей любопытства, рассматривал меня, а затем кивнул.

– Сегодня прохладная ночь, – голос его был низок и хрипловат. Ничуть не смущаясь, он рассеянно подобрал складки плаща, потемневшего от пыли, и присел к костру.

Я удивленно смотрел на него. Кто такой? Что ему надо? Но незнакомец был невозмутим. Он поворошил горящие ветки и отрешенно, не мигая уставился в пламя, словно уже забыв о моем существовании. На его немолодом и слегка усталом лице заиграли блики.

– Ты умеешь слушать тишину, – повторил он, и спокойно, почти равнодушно повернул ко мне голову.

Его темные, чуть запавшие глаза производили странное впечатление: отстраненные и неподвижные, с застывшим взглядом, подернутые дымкой, они будто где-то блуждали, то ли замороженные, то ли что-то вспоминая, и, смотря на вещь, вещи словно не видели. Незнакомец разглядывал меня отрешенно и безучастно, без тени смущения, но казалось, что он смотрит мимо и сквозь меня, меня не замечая, – это был взгляд сомнамбулы. Стало чуть не по себе.

– Кто ты? – не выдержал я.

– Не бойся, – он усмехнулся, глаза смягчились. – У меня много имен. Люди называли меня Духом Бездны, Падшим Ангелом, Искусителем...

Я вздрогнул.

– Но тебе нечего бояться, это всего лишь имена, – он покачал головой. – А я только Странник...

II

...Комнату мутными, грязными потоками заливали сумерки – серые, вечерние. Тягуче, словно кисель, растекались они кляксами по линолеумовым полам, по обоям; они медленно клубились удушливыми облаками под потолком, – потолок нависал низко и зримо давил тяжестью. Сгущаясь и уплотняясь в ночной мрак, они скрадывали очертания вроде бы давно знакомых предметов, очертания вроде бы неизменные, скрадывали незаметно и самым причудливым образом, превращая их в тени, зыбкие, колышущиеся тени. Вытягиваясь, тени быстро росли и раздувались до огромных размеров, но, так же быстро опадая, рассыпались на бесформенные пятна.

Мир развоплощался, мир – только тень, только призрак, вселенская иллюзия, чей-то ловкий фокус, злая насмешка. Солнце погасло, и вещи приоткрыли лица, за которыми виделась лишь пустота – мертвая и беспредельная. На мгновение показалось, что кто-то смотрит оттуда, кто-то в маске, смотрит пустыми глазами, насмешливо и нагло ухмыляясь. Я вздрогнул – видение исчезло. И с некоторым облегчением вздохнул. Чертей еще не хватало. От ударной «дозы» боли заглохли, и я чувствовал себя почти что хорошо.

В комнату входила ночь, шаги ее неслышны – она кралась. Угрожающе извиваясь, тени расплзались во все стороны. Они со злобным вожделием шипели и до омерзения откровенно ласкались друг о друга скользкими телами. Самые смелые приближались и пристально смотрели на меня пустыми глазами, раскачиваясь и сплетаясь в кольца.

Обманутая моей неподвижностью, одна маленькая и бледная, видимо, еще молодая тень осторожно коснулась пальцев. Я чуть напрягся, но она ничего не заметила, – открыто и не таясь, обвила она кисть и вновь замерла. Я видел, как мутно блестели на ее темной поверхности капельки света – свет падал с улицы, – ощущал, как подрагивает от моего дыхания ее холодное и мертвое тело, но она недолго была бездвижной. Внезапно ожив, она заскользила вверх, к плечу, но это было уже чересчур. Сморщившись, с отвращением, я потрянул рукой. Соскользнувшая на пол тень яростно зашипела. В углу предупреждающе глухо заурчали – я повернул голову. Оттуда, словно ночной паук, выходящий на охоту, выбиралась еще одна крупная, насыщенная мраком тень. Выбиралась, замирая при каждом шорохе, настороженно перебирая тонкими лапами, но внезапно замерла – почувствовала мой взгляд. Я вздохнул. Задолбали! Тихо ругнулся и, пошатываясь, поднялся с кресла, – испуганно дернувшись, тень метнулась в угол. Колышущаяся тьма с неохотой расступилась, когда я шагнул к окну.

За спиной скользили тени, но я смотрел на пустынную, убегающую вдаль улицу, вслед за которой убегала и редкая цепочка фонарей. Ветер нес по обледелым тротуарам снежную пыль, пригоршнями швыряя в окна, – во многих еще горел свет. Я видел, как по шторам и занавесям прыгают голубые блики телевизоров, как появляются и исчезают тени-силуэты. Я покачал головой. И здесь они. Может, там, напротив, никого и нет вовсе? Одни тени, целый дом теней – бетонный, многоквартирный. Это, наверно, они днем люди, а гаснет солнце, закрываются двери, задернуты шторы, и их нет, и только тени мелькают на стекле. Может, и нет ничего вообще, кроме них? И весь мир – театр теней, но кто мы в нем, актеры ли, зрители, я не знаю. А «режиссер»?

В окне напротив шторы раздвинулись и появилась чья-то фигура. Привет! Я кивнул и усмехнулся. От тени тени – привет! Я ведь знаю, приятель, что для тебя я тоже лишь тень на стекле, лишь темный силуэт. Но он молчал, замолк и я. Ветер качал придорожные тополя, и их долговязые тени раскачивались на земле гигантскими метлами, тени-облака скользили в ночном небе серыми миражами, тихо скользила в их просветах луна – тень солнца. Может, я действительно тень? Кто вспомнит обо мне, когда меня не будет?

...Из соседнего двора вынырнула тень пьянчужки: пошатываясь и останавливаясь через каждые пять шагов, он растерянно озирался, словно пытаясь вспомнить, где он и куда идет. Один раз он и вовсе поскользнулся, нелепо взмахнув руками, но затем поднялся и продолжил путь. Я криво улыбнулся. Человек – это звучит гордо... Но только звучит. О человеке лучше сто раз услышать, чем один раз увидеть. Нет, я не испытываю к людям презрения или ненависти (хотя бывало когда-то и такое), – я их, себя в том числе, просто не люблю.

Мне смешно, когда слышу романтический лепет о «красоте и доброте человека». О ком речь? Об этом, что сейчас по улице ползет? Или о миллионах подобных, умеющих только жрать, спать, спариваться да паяться в «ящик»? Нет, я не против этого – я не аскет, и сам, когда здоров был, любил вкусно поесть, поспать и всё остальное, но заполнять этим всю жизнь?! Этого ли хотелось, когда я, еще мальчишкой, стоял у распахнутого окна, под июньской луной, и ночная свежесть будила смутное, неясное, но сладостное предчувствие чего-то огромного, захватывающего, невыразимо прекрасного, что должно сбыться в жизни. Предчувствие, от которого наворачивались слезы непонятного счастья...

Человек – это звучит гордо... Смешны романтики, смешны, хотя, может, просто завидую тем, кто, несмотря ни на что, верит хоть во что-то. Не знаю... Иногда очень трудно, почти невозможно, разобраться в себе, своих чувствах. Здесь ты словно зачарованный принц из сказки в поисках самого себя, стоящий в зале с тысячей зеркал в заколдованном замке и не могущий понять, где он, а где лишь отражения.

...Этажом ниже стукнула форточка. Я вздрогнул. Тот пьяный еще не ушел. Оставив неровную цепочку следов, он стоял под окнами, привалившись к столбу, а когда поднял голову, я его разглядел. Это оказался Петька-холодильщик, как звали его в нашем квартале. Когда-то хороший мастер, порядком опустился и, что называется, «подсел на стакан». Он как-то чинил нам холодильник, и я немного его знал. Я смотрел на него, на улицу, по-прежнему пустынную, заметаемую снегом, – мороз крепчал, ветер усиливался, – и покачал головой. Может ведь и не дойти... Мелькнула глупая мысль – выйти, довести до дома, или позвать, позвонить кому, – но только мелькнула и так же быстро исчезла.

Я равнодушно взирал, как кружит по асфальту поземка, слышал, как потрескивают тополя, и знал, что никуда не пойду – ведь там холодно, а здесь тепло. Я уткнулся в стекло и усмехнулся. Я могу помочь, но – отойду в сторону. Отойду потому, что не хочу на мороз, не хочу видеть мутных осоловелых глаз, ощущать густого «амбре» давно немытого тела, нестиранной одежды и перегара. Отойду, наконец, и это, наверно, главное, потому, что мне всё равно. Да, всё равно, – замерзнет он, ограбят ли его или доберется-таки до дома. И даже звонить ради такого не буду. Разве я сторож ему?

...Забравшись ногами, я сидел на подоконнике, привалившись к широкому откосу, и смотрел, как Петька-холодильщик поворачивает за угол. Правда, в последний момент показалось, что он-таки упал, но, присмотревшись, решил, что это темнеет, наверно, сугроб, хотя точно сказать не мог – было далековато. Я махнул рукой. В конце концов, какая разница, если и замерзнет? Много ли изменится? Я не желаю ему смерти, но и беспокоиться не буду, – слепая случайность, забросившая в этот мир, сама распорядится его убогой жизнью.

Я вдруг представил, что, может, где-нибудь там, наверху, какой-нибудь допотопный, чудом не вымерший бог также наблюдает за нами. Наверно, у него тоже мелькнула божественная мысль – выйти и помочь, – может даже жалость, но посмотрел он на наш холодный и неуютный мир, на душонки наши убогие и расхотелось одеваться, куда-то идти, кому-то помогать. Расхотелось покидать теплый Эдем, и он лишь равнодушным взглядом проводил слепо бредущее, заплутавшее человечество до темного переулочка...

А может, и не мелькало ничего, и жалости не было, – наверно, это человеческое, слишком человеческое чувство. Зачем оно богу? Может, там, на небесах, сидит как в театральной ложе, вальяжно развалившись на золотом престоле, бог-эстет, тонкий ценитель прекрасного.

И с божественным любопытством наблюдает сквозь изящный монокль, как разыгрывают люди день за днем, век за веком драмы и комедии, большие и маленькие трагедии. Как заядлый театрал, чуть склонив голову с небрежно надетым нимбом, рассматривает, как рождаются, сплетаются и рушатся такие обыкновенные человеческие судьбы, как строятся и бесследно исчезают города, страны, народы. Скорее всего, он брезгливо морщится, выпячивая нижнюю губу, когда на сцене льется слишком много такой обыкновенной крови и разлагаются такие обыкновенные трупы. – Фи, как неэстетично! Никакого изящества и красоты! Если уж так нужно, то эту, техническую, сторону можно проделать и за кулисами. Мы ведь пришли, чтоб отдохнуть. И созерцать прекрасное и вечное! Так, мои безгрешные ангелы? Ангелы, ангельски улыбаясь, кивают Шефу и, шурша казенными крыльями, успокаивают, что к следующему представлению, видимо уже после Страшного Суда, они позаботятся и об этом. Небесный Отец благоклонно улыбается в ответ, и все вновь обращают безгрешные взоры на грешную человеческую сцену. В антракте, наверно, Всевышний, перекусив в райском буфете, интересуется у проходящего мимо ангела-служки: послушайте, э-э, милейший, а кто, так сказать, автор? – О, это ваш первый слуга – Светлейший Князь! – Люцифер? Ах, он, оказывается, еще и драматург? Похвально, похвально! Ну-ка позовите, да побыстрей! Ах, вы уже тут, Князь? Ну, поздравляю вас, поздравляю! У вас, оказывается, такая разносторонняя натура! Не знал, не знал. Пьеска действительно интересная, даже, можно сказать, занимательная и познавательная. А скажите Мне, милый Князь, кто у вас актеры? – Светлейший с легким презрением кривит тонкие накрашенные губы: всего лишь смертные, мой Господь. – Смертные? Всевышний разочарованно откидывается божественным сияющим телом на спинку. Фи, а Я думал, это из небожителей. – Светлейший поспешно оправдывается: но они, Небесный Отец, всё равно неплохие актеры. Они почти в буквальном смысле рождаются и умирают на сцене! Они словно созданы для нее! Вы не представляете, как серьезно они относятся к своей работе. Они так и говорят: наша работа – это наша жизнь. Если бы не знал, что нахожусь в театре, мог бы подумать, что они и впрямь живут и страдают на сцене. Актеры, что ни говори, они прекрасные. Я стараюсь давать им свободу импровизации, нельзя же ограничивать талант! Хотя изредка приходится и вмешиваться, иногда незаметно и для них самих. Все нити в моих руках, хотя были и непредсказуемые повороты, и какие! – Вот как? Всевышний с любопытством смотрит на Светлейшего. – Да, да, – продолжает драматург, – я расскажу Вам самый интересный случай. Около двух тысяч лет назад по сценарному времени один актер, имени не помню, но по кличке Назаретянин, он то ли плотника, то ли пастуха играть был должен, возомнил себя ни больше ни меньше как Вашим Сыном! – Сыном?! Всевышний оглушительно хохочет, вновь откидываясь на спинку. Вот фантазер! Вот проказник! – Я пытался вмешаться, – слегка подсмеиваясь, продолжает Князь, – я трижды призывал его образумиться и не срывать пьесу. Предлагал дополнительный продпаек, должность высокую и прочие блага, но тщетно. Он упрямо твердил, что Ваш Сын и произносил при этом какие-то нелепые, абсурдные проповеди. Пьеса была под угрозой срыва, и мне... – драматург на мгновение запинается, – мне пришлось принять радикальные меры. Нет, нет, – торопливо заверяет Небесного Отца Светлейший, – без жестокостей! Сами актеры, кстати, вначале очень любили его, можно сказать даже боготворили, но они же (конечно, не без помощи вашего покорного слуги) и вздернули, образно выражаясь, его на крест. Ну, на актерском жаргоне – значит изгнать из театра. Как видите, обошлись с ним весьма гуманно. К слову сказать, были какие-то интриги, попытки вернуть его, и кто-то даже распускал слухи, что на третий день после изгнания он возвращался на сцену, но, видимо, это только слухи. Где он сейчас бродит, не знаю, может уже спился. Актеры без театра, знаете ли, быстро спиваются, а он, кстати, любил принять где-нибудь в антракте стаканчик красного с корочкой хлеба и изречь, поглядывая на вино: сие на кровь мою похоже. Я вначале вообще не хотел выпускать его на сцену, и вовсе не поэтому: он, знаете ли, был немного болезненный, меланхоличный юноша, вечно о чем-то размышлял, помечтать любил о чем-нибудь этаким небесном. И, наверно, и впрямь

уверовал в свои фантазии, тем более под винцо. А знаете, Небесный Отец, – Князь понижает голос, – актеры, что поддержали и поверили ему, стали питать к Вам странную, непонятную привязанность и даже любовь! – Вот как? Всевышний вскидывает тонкие брови. Это очень мило с их стороны. Весьма тронут. – А вот меня они не очень любят, – слегка обиженно усмехается Князь, – и считают виноватым во всех бедах театра: то им хлеба не хватает, то чуда, то еще чего-нибудь. Я, видите ли, их зажимаю, не даю простора для творческого роста. Порой и вовсе оскорбляют, называют Отцом Лжи. Но разве я как драматург, как деятель искусства творю на сцене ложь? Ведь это же художественная правда! Они не понимают своими евклидовыми умишками законов жанра, вечного искусства! Они не видят порой даже разницы между спектаклем и жизнью! И слишком серьезно относятся к «Жизни человеческой», которую ставим. Им не хватает легкости и изящества. Когда смотришь на них, возникают порой тяжелые мысли и чувства, некрасивые и неэстетичные, а для искусства это недопустимо. Искусство должно ведь возвышать и облагораживать, они... – А что они еще обо Мне думают? Всевышний мягко прерывает увлекшегося драматурга. – А, еще они рассчитывают на пенсион от вас по окончании карьеры, надеются, что возьмете театр под опеку. – Вот как? Ну это они зря. Небесный Отец морщится. Я никому не протежирую. И не работаю в благотворительном бюро. Пусть сами разбираются со своими проблемами. Видимо, этот мечтательный юноша слишком много обо Мне нафантазировал. Всевышний, утомленный разговором, лениво машет: подымайте занавес! Шоу должно продолжаться. И немного удивленно хмыкает: надо же! Объявить себя Моим Сыном! Зачем Мне сыновья? Ведь дети такая обуза... И, чуть спохватившись, через плечо бросает Князю: напомните ангелам, чтоб после спектакля оттерли сцену. Не хватало еще, чтобы в Моем театре воняло кровью и мертвечиной. Ведь это так неэстетично...

А впрочем, скорее всего, там, наверху, никого и нет – вымерли, наверно, давно. И боги не вечны под луной. Мне вспомнился совсем недавний, очень странный и непонятный сон...

...Я сидел в большом, многолюдном зале с лекторской трибуной на сцене. Вокруг стоял громкий шум, гам, слышалась гортанная иноязычная речь. Вдруг шум стал стихать. На трибуну быстро взошел стройный мужчина – этаким красавец-аристократ в черном изящном костюме, с такими же черными волосами, зачесанными назад, и блестящими, жгучими глазами. Небрежно, даже с некоторым презрением он оглянул притихшую аудиторию и резким, хорошо поставленным голосом, без особого вступления, обратился:

– Уважаемые коллеги! Уважаемые гости! Свою сегодняшнюю речь мне хотелось бы посвятить одной малоизученной нашей биологией, но крайне интересной проблеме, а именно: какое место в живой природе занимают так называемые боги? Возражение, что они, мол, не являются предметом нашей науки, я отметаю как необоснованное: раз боги живые существа, значит, они могут и должны изучаться биологией. Мы не потерпим никакого ограничения нашему познанию! Сейчас, слава богу, не темное средневековье, а просвещенный XXI век. Так вот, повторю вопрос: какое же место занимают в живой природе боги? Вначале, видимо, необходимо определиться с систематикой. К какому же из основных природных царств их отнести – к растениям или животным? В нашей научной литературе преобладает мнение, которое я полностью поддерживаю, что богов, видимо, следует относить к царству животных. Ибо в многовековой исследовательской практике не зафиксировано ни одного случая, ни одного факта, указывающего, что эти существа способны самостоятельно создавать органические вещества посредством фотосинтеза. Они, как и все животные, питаются уже созданной, готовой органикой. Например, древнееврейские исследователи, занимавшиеся данными вопросами, прямо указывают в своих научных работах (смотрите «Ветхий Завет»), что Яхве, это окультуренное божество, выведенное в результате тщательной многовековой селекции, явно предпочитало баранину. Иногда, как правило, при рождении мальчиков, его подкармливали своеобразными деликатесами – обрезками крайней плоти, обставляя это, правда, как священный ритуал обрезания, хотя исторический материализм учит, что, скорее всего, это делалось при резком

сокращении поголовья баранов. А сокращения такие были нередки, так как вызывались антагонистическими противоречиями между классами древнежидовских рабовладельцев и древнееврейских рабов, проявившимися в революционном, высокосознательном поедании рабами поголовья мелкорогатой скотины, предназначенной Яхве. Причем зачастую это сопровождалось требованиями скорейшего перехода к исторически более прогрессивному феодализму в форме лозунгов «Всю власть – феодалам!» и «Феодализм – светлое будущее человечества!» И это говорит о высокой сознательности древнееврейских рабов. Но, как говорят французы, вернемся к нашим баранам, то бишь к богам. Аналогичные сообщения, что боги предпочитают готовую органику и, следовательно, являются животными, имеются и в иных научных трудах (смотрите, например, «Илиаду»). Правда, не у всех богов удалось выяснить способ питания, но тем не менее в целом можно сказать, что боги как живые существа принадлежат к животным. Сложен вопрос с определением типа животных, к которым следует их относить: беспозвоночные или позвоночные, иначе хордовые? Большинство богов, это в основном языческие божества, видимо, относятся к различным классам типа хордовых, начиная с богов-рыб и заканчивая богами-млекопитающими. Кстати, эти божества встречаются и в нашем родном отряде, я имею в виду отряд приматов, к которому мы имеем честь относиться, – например это греческие человекообразные боги-олимпийцы. Исключение, видимо, составляют боги так называемых «мировых религий», так называемые «абсолютные Божества». Ввиду отсутствия у таковых Богов физических тел, а следовательно, и возможной хорды данный вид следует относить к типу беспозвоночных. Надо сказать, некоторые наши коллеги, видимо претендуя на оригинальность, выдвигают идеи, что абсолютные божества, вообще, принадлежат к вирусам на том основании, что они невидимы обычным глазом, неощутимы и оживают только попав в душу человека. Думаю, вполне достаточным аргументом против таких, если так можно сказать, «теорий» будет указание на то, что они, попросту говоря, ненаучны и потому их можно отмести с порога, не вдаваясь в частности. А насчет дальнейшего распределения богов по классам, семействам и отрядам, могу сказать, что это частный и непринципиальный вопрос, на котором я задерживаться не буду. И попытаюсь лишь очертить основные направления, по которым нам следует вести изыскания. Необходимо определить место богов на эволюционной лестнице: палеонтологические раскопки, находки окаменевших останков вымерших богов (например, безрукой Венеры Милосской, очень, кстати, неплохо сохранившейся для своего возраста) позволяют сделать вывод, что данные существа также развиваются и не являются исключениями из закона эволюции. Но происхождение их неясно, хотя оно каким-то образом связано с происхождением человека, о чем свидетельствует тщательный исторический анализ мифологии. Одни ученые полагают, что боги – это наши прямые предки или то самое «недостающее звено» в цепи «животное – человек», однако это не совсем согласуется с принципами дарвинизма, гласящими, что мы прямые потомки обезьян. Другие полагают, что божества не предки наши, а боковая, параллельно идущая, возможно, тупиковая ветвь эволюции животных, развившаяся до божественного состояния. Но изучение вымерших теопитеков и теоантропов, а именно так принято называть предков нынешних богов, не позволяет на нынешний момент сделать научно обоснованного вывода, а какая же точка зрения верна. Другим важным направлением исследований следует считать комплексное описание морфологических и физиологических характеристик божеств. Крайне интересны и до конца не выяснены божественные механизмы размножения. Тут наблюдается огромное разнообразие способов: бесполое деление, обычный половой (хотя зачастую и с многочисленными извращениями, как, например, у языческих божеств) и даже беспорочное зачатие! – при этих словах зал разразился оглушительным, улюлюкающим хохотом, а лектор продолжал. – Я, конечно, разделяю ваш смех, уважаемые коллеги, и сам считаю всё это ненаучными домыслами, хотя с точки зрения исторического материализма это всё происки жидовствующих импотентов и сионистов-кастратов. Именно они желают очернить наш отечественный, исторически прогрессив-

ный и научно обоснованный способ размножения – половой, за который на протяжении всей биологической эволюции боролись народные массы, за который в кровь бились наши отцы и деды по животной линии. Но вернемся к нашей теме. Важнейшим, если не самым важным в условиях перехода нашей страны из предыдущего состояния в последующее является изучение возможностей практического, народнохозяйственного использования богов. Мы должны дать стране дешевый хлеб, дешевые колбасы и сосиски, а также иные общечеловеческие ценности, признаваемые и охраняемые всем цивилизованным сообществом, к которому, я надеюсь, мы скоро будем принадлежать. И именно наши исследования могут помочь в решении этой проблемы. Дело в том, что многие божества поддаются одомашниванию и становятся культурными видами. По описанию древних исследователей для этих целей выстраивались специальные загоны: храмы, святилища, капища и тому подобное. Многие боги весьма прихотливы, требуют особого отношения и специального питания. Ввиду этого прибыльнее будет разводить богов, питающихся преимущественно духовной пищей – верой, надеждой, любовью, – этого добра нам не жалко, в рот его ведь не положишь и бюджет не пополнишь. Думаю, со временем эта отрасль народного хозяйства, если поддержать ее инвестициями и щадящим налоговым режимом, может стать одной из доходнейших статей бюджета. В зависимости от вида и сущности божества от них можно получать весьма ценные продукты и дивиденды: здоровье, удачу, жизнь вечную, тепленькое местечко в раю. Правда, всё это дается не сразу, иногда придется немного подождать, например до Судного Дня, но ведь мы работаем на перспективу. Хочу также обратить внимание не только нашего, но и всего мирового сообщества на острейшую проблему сохранения богов как биологического вида. Ведь огромное количество божеств и так вымерло в процессе эволюции! Причины, кстати, до сих пор неясны: то ли вспышка сверхновой, то ли падение астероида, то ли резкое изменение климата. И если вы не хотите, чтобы наши дети знали о богах только из книжек, надо принимать меры. Надо бить тревогу: боги в опасности! Их осталось не так уж много! В позапрошлом веке один лжеученый из Германии, также занимавшийся данной проблематикой, занимавшийся ненаучно, по-дилетантски, даже констатировал: мол, бог умер. Но он, к счастью для нашего народного хозяйства, ошибался. Им удалось выжить, выжить в годы репрессий и культа личности, находясь в некоторых труднодоступных районах души. Поэтому необходимо объединить усилия всех людей доброй воли для спасения этих живых существ. Будем гуманны! Ведь мы люди просвещенного XXI века! Необходимо принять пакет законов о запрещении варварской атеистической охоты на богов или, по крайней мере, запретить на них охоту в период размножения и вынашивания потомства. Необходимо прекратить вырубку храмов – их естественных ареалов обитания. Надо создавать заповедники богов. Используя достижения современной генетики и геномной инженерии, можно выводить искусственным путем, в пробирках, путем клонирования, более продуктивные породы божеств. Это задачи нашего будущего, а оно, надеюсь, будет таким же светлым, как и прошлое. Это только наброски. Перед нами непочатый край работы: нам надо, как говорил, провести полные комплексные исследования – описать, заснять, измерить, взвесить. Никто не смеет препятствовать поступательному движению науки! Ибо цели наши высоки, а помыслы еще чище! Веками всё прогрессивное человечество мечтало и стремилось к Истине, и мы ее найдем, раскопаем, выпотрошим! Так вперед, к новым знаниям!

Зал бурно заплодировал, услышав заключительные слова, но лектор не закончил:

– А сейчас я хочу подкрепить свои слова делом. Наш научный коллектив уже давно занимается данной проблематикой. Сейчас мы изучаем один очень интересный экземпляр божества, его и хочу продемонстрировать. Эту особь отловили около двух тысяч лет назад в Иудее. С ней мы и проведем один перспективный эксперимент.

Он ослепительно улыбнулся и небрежно, но не без изящества хлопнул в ладоши:

– Внесите!

Четверо служащих в серых балахонах, слегка отдуваясь, вынесли и осторожно поставили около трибуны большую клетку, накрытую белой тканью. Лектор еще раз белозубо улыбнулся и, не спеша, подошел к клетке, а затем изящным, театрально выверенным жестом сорвал ткань...

А там был Он – в свободных светлых одеждах, только на левом плече виднелась заплатка из ткани потемней, и вместо пояса – бечевка с обожженными концами. Он стоял неподвижно, опустив голову так, что длинные волосы совсем закрыли лицо; пониже темени волосы слиплись – то была спекшаяся кровь. Голову и запястья его словно змеи опутали провода, но Он, казалось, ничего не замечал. Ни публики, ни лектора, что снисходительно оглядывал зал, поигрывая откуда-то взявшейся указкой.

– Вас, наверно, удивляет его неподвижность, а дело в том, – и лектор небрежно махнул указкой, – когда вживляли в мозг датчики, случайно повредили двигательный-речевой центр. Ну, он и впал в ступор. Но не беспокойтесь, для эксперимента это значения не имеет. К тому же он слишком много болтал и нес всякие глупости. Так что были даже рады, когда замолчал.

– А есть ли у него какие-нибудь особенности? – раздался голос с галерки. – Говорят, многие из них обладают удивительными способностями: молнии метать, землетрясения вызывать, плодородие земель улучшать.

– Так для этого и проводим эксперимент! Точнее, его начало, так как результат, видимо, будет известен только на третий день. Мы исследовали это божество в лабораторных условиях, но никаких особых свойств пока не обнаружили, ну, может, кроме чрезмерно чувствительной нервной системы, но и это значения для нашего эксперимента не имеет. Суть эксперимента в следующем: как описывается в некоторых старых научных работах, я про «Новый Завет», древнеримские исследователи совместно с их древнееврейскими коллегами произвели интересный опыт, а именно вздернули эту особь на некое сооружение, называемое ими «крестом», а на третий день этот экземпляр воскрес!

– Воскрес?! – по затихшему залу пронеслась волна изумления.

– Именно, воскрес! – довольный эффектом, лектор покрутил головой, глаза блеснули. – Видимо, данная особь умеет каким-то образом регенерировать даже после необратимых процессов. Механизм явления пока неизвестен, но, думаю, в скором времени мы найдем разгадку этому, на первый взгляд, чуду. И тогда перед человечеством откроются блестящие перспективы! Ведь мы получим ключ к бессмертию! И сможем увеличить среднюю продолжительность жизни почти до бесконечности! Это будет золотой век человечества, век вечной жизни! Об этом ведь прямо говорится в источниках: «и обретем мы от Него жизнь вечную». Во имя этой высокой и благородной цели, не ради славы, ради жизни на земле, мы и проведем, а точнее, воспроизведем тот эксперимент. Сейчас мои помощники готовят оборудование. Нашим техникам с помощью археологов удалось воссоздать внешний вид и принципы действия того сооружения, что именуется «крестом». Хотя скажу сразу: наш вариант не вполне соответствует тому, что использовался тогда. Из гуманных соображений мы слегка модернизировали крест и оснастили его электросиловой установкой. Всё должно закончиться быстро, – и лектор с улыбкой щелкнул пальцами, – поворот рубильника и... и всё готово. Зачем излишние страдания? Мы ведь не древние варвары, мы – люди просвещенного века, и нам дороги идеалы гуманизма и общечеловеческих ценностей.

Сверкая зубами, он небрежно вертел указку, и ловкие холеные руки напоминали змей, а затем, начав, видимо, уже слегка нервничать, резко и нетерпеливо, но продолжая улыбаться залу, крикнул за кулисы, в подсобку:

– Эй, скоро вы там? Извольте поторопиться! Публика ждет.

– Ничего, – в зал высунулся помощник с озорными глазами и весело подмигнул, – две тысячи лет ждала, неужто пять минут не подождет?

– Ты у меня тут поостри! – строго оборвал лектор, хмуря тонкие брови. – Тут ведь не только публика, вся наука и человечество ждет. Поторопитесь!

– Да мы только напряжение проверим, и всё будет, – уже из подсобики оправдывался помощник. – Нам и самим хочется, чтоб всё работало.

Потом он негромко, под нос, замурлыкал веселый мотивчик. А там, в клетке, всё так же опустив голову, стоял Он. И ничего не замечал: как плотоядно ухмыляется публика, потирая ладони в предвкушении зрелища, как нервничает лектор, теребя указку. Не замечал, как, суетясь и пыхтя, выталкивают в зал помощники небольшой, но массивный помост. И как внезапно, словно ночная хищная птица, упала на его застывшую и как бы съезжившуюся фигурку такая знакомая Ему до боли тень – огромная черная тень креста, – угрожающе нависшего сооружения из металла и пластика. Опутанное змеящимися проводами, оно монотонно гудело от тысячевольтного напряжения и поблескивало полированными гранями...

...Ветер за окном не стихал, раскачивая тополя, провода. Я рассеянно водил пальцем по стеклу. Кто же ты был, Назаретянин? Не во сне, а наяву? Богочеловек? Искуситель? Или Бог-искуситель, Бог-самоубийца? Да, самоубийца. Я усмехнулся. У меня в студенческие годы был приятель-сокурсник, чудаковатый парень, и он однажды, на семинаре по культурологии, на полном серьезе доказывал, что Иисус – Бог-самоубийца. Когда ему возразили, это, мол, нелепость, Бог бессмертен по определению, он парировал, что Тот, в первую очередь, всемогущ и, следовательно, может всё, в том числе и прервать Свое существование. Тут уж вмешался преподаватель, со смехом спросивший, с чего бы вдруг Богу кончать с Собой? А тот возьми и брякни: от несчастной любви и одиночества. Тут уж покатила со смеху вся группа, и я не исключение. А он тогда поднялся, бледный весь, взъерошенный, тихо посмотрел на нас и рукой с горечи махнул. Идиоты, говорит, как вы не понимаете, что Он – Единственный, и Ему нет равного, что, нас творя, Он от одиночества спастись хотел, а мы на любовь его не ответили. Вот Он и принял не только облик, но и судьбу смертного – крест смерти...

Чудак был человек, чудак. Я покачал головой. Только вот на последнем курсе, дома, в ванной, вены вскрыл себе, и никто не знал почему – откачать не успели. Станный был человек и не совсем, наверно, здоровый – на религии помешался, всё книгу об Иисусе хотел написать. И даже отрывок как-то тайком показывал: что-то там про смерть, кривую за Ним по небесам, и Черное солнце, выжегшее тень Бога, как проповедовал Он Слово Жизни, хоть и знал, что небеса пусты и спасения нет, про желанность смерти и тому подобную муть.

Бред, скажете, несусветный? Конечно, бред. Я же сразу сказал – чудной человек, нездоровый, хотя этим «приятелем» был я сам. Что, смеетесь? Я тоже – я же шутник по натуре. Да и, вообще, с детства любил таким макаром истории про себя рассказывать. Иной раз стыдно про себя что-нибудь этакое рассказать, а хочется. Вот и приплетешь какого-нибудь товарища мифического, с которым вроде бы всё и случилось, – и людей посмешишь, и сам посмеешься (над собой-то с другими не очень охота хохотать, а вот над «приятелем» незадачливым отчего же не посмеяться?).

Да и приврал я порядочно – вен не резал, и книги не было, хотя отрывок такой как-то между делом, от делать нечего, действительно, накалал. Я для чего говорю это, чтоб не приняли вы меня случаем за страдальца какого-нибудь подпольного с большими скорбными глазами. Терпеть не могу страдальцев и идиотов всяких траурных. Чтоб совсем не сомневались, более скажу: на семинаре том про Иисуса-самоубийцу я, конечно, говорил, но только сам же первый и смеялся. И про любовь его несчастную и одиночество тоже, смеха ради, приплел, чтоб приятелей потешить. И бледным и взъероленным, конечно, не был, и тихим взглядом с горечью ни на кого не смотрел. Приврал я, для красоты сцены приврал, для эффекту трагического.

А с отрывком, признаюсь, вообще, грех: я-то, вообще, его сидя в туалете на тетрадном листке катал, после чего использовал по «назначению». Иные мысли интересные порой ведь не только за книжкой умной приходят: иной раз «на толчке» сидишь, а сам о чем-нибудь этаким

философском размышляешь или об искусстве высоком, аж самому потом смешно становится, когда вспомнишь, где сидишь и о чем думаешь.

Думаете, скоморошничая? Да, скоморошничая, но с умыслом! С умыслом! Вас ведь хочу подурить! Иной, кто с претензией на проницательность и психологию глубокомысленную, тот, наверняка, уж сочувственно головой качает: ах, глубокая душа, страдает много, но признаться из целомудрия душевного стыдится, вот и насмешничает над святым и чувствами своими. Так вот, уважаемые господа-психологи, пальцем в небо вы попали! Не страдаю я, кроме как физически, и не стыжусь, а собою люблюсь! Умом своим и красноречием, мужеством стоическим и натурой тонкой – попробуйте только сказать, что не таков! Скажете, позер и фигляр? Я скажу – да, позер и фигляр, но ведь и этим смогу гордиться, ей богу, смогу! Ибо осознаю и красуюсь своей способностью к самоиронии, красуюсь и горжусь красованием своим неприкрытым. Чем угодно могу гордиться, лишь бы было чем, без разницы!

...За окном стало стихать, и снежинки кружились уже вальжней, с ленцой, искрясь под косо падающим светом. Фонари изредка перемигивались, словно вели неслышимую беседу. Было тихо. Я зябко поежился. Тишина была немного странной – глухая, плотная, давящая, – от которой становилось не по себе. Или кажется? И начало ломить в висках и познабливать.

В стекло что-то ударилось. Я дернулся, взглянув за окно. И изумленно замер: по затихшей улице, со стороны кладбища, что начиналось через квартал, двигалась процессия – змея на белом. Во главе я сразу заметил высокую женскую фигуру в сером, за которой неспешно вышагивали какие-то люди и тоже в сером. Змея-процессия ползла в сторону дома, ползла медленно и бесшумно, словно не касаясь земли. Тревожно кольнуло сердце. Кто они? Что здесь делают? И, сам не зная зачем, тихо сполз с подоконника.

Я непонимающе смотрел на серые фигуры и чувствовал, как поднимается неясный страх; смотрел, а затем вздрогнул как от удара – они несли гроб! Такой скромный деревянный гроб, обитый дешевой красной материей, с черной окантовкой. Похороны?! Ночью?! Я мотнул головой. Бред! И почему с кладбища, а не наоборот? Кто они?! А когда процессия остановилась под окном и та женщина подняла глаза, в голове закружилось – лицо ее было в маске! Она улыбнулась – губы красные, ярко красные до неестественности, но взгляд оставался пустым и бездвижным, взгляд маски, – улыбнулась и поманила. А спутники ее, с такими же бледными, почти бескровными лицами-масками, с тонкими поджатými губами, на которых блуждали странные, будто гримасничающие улыбки, уже опустили гроб и сняли крышку. Господи! Я пошатнулся и схватился за подоконник – гроб был пуст! Внезапно и резко затошнило, в глазах потемнело, на мгновение я словно потерялся – за мной! И меня согнуло и вырвало. А когда в глазах прояснилось – улица была пуста. Лишь снежинки по-прежнему кружились и искрились на свету...

Что это было? Я вытер губы от желчи, рубашка промокла от пота насквозь. Галлюцинация? Реальность? На дрожащих ногах я сделал два шага и бессильно рухнул в кресло, меня било в лихорадочном ознобе. И неизвестно, что страшней. Я откинулся назад и смежил веки – так стало немного легче, но липкий, скользкий страх не уходил. Противная, тошнотворная слабость, что охватывала при любой нервной встряске, растеклась по оцепеневшему телу. И тяжело дышалось – с одышкой. Я был подавлен, в ушах плыл звон, во рту – горечь. Я скрипнул зубами. Черт, но зачем я тогда так сглупил?! Зачем?! Сдохнуть из-за какой-то докторской шапочки!!! Что может быть глупей?!

...Это случилось в начале сентября, когда пришел на прием.

Закрывая дверь, я прищемил палец и в сердцах выругался. После вчерашних новостей и ночных болей только и оставалось материться. Невыспавшийся, усталый и злой, я был взведен с утра, но Алексей Николаевич, как всегда, – сама невозмутимость.

– Добрый день. Присаживайся.

Щурясь от яркого, раздражавшего света – крышка стола была отполирована до блеска, – я хмуро буркнул «здрасте». И, не глядя, плюхнулся на стул, всё еще морщась и потирая палец. Алексей Николаевич кашлянул.

– Не хочу пугать, Саш, – осторожно начал он, – но диагноз серьезный, – и сделал паузу. – У тебя опухоль...

И посыпал терминами. Но я не слушал – уже знал всё от матери (когда вчера Алексей Николаевич позвонил на домашний, трубку взяла она, – у меня было заседание кафедры). Я не слушал, а исподлобья, угрюмо и зло разглядывал его, кривясь от ворочавшейся боли. Блин, зачитывает приговор – хоть бы рожу скуксил! Но холеное лицо его, казалось, лоснилось спокойствием, а глаза – равнодушием. Не знаю, почему, но всегда, даже когда был жив отец, недолюбливал Алексея Николаевича. Может, потому, что напоминал kota – сытого и откормленного, – а я кошек с детства не люблю, собаки – другое дело.

Уткнувшись в бумажки, Алексей Николаевич что-то бубнил и изредка поднимал взгляд – слушаю ли? Один раз он слегка поправил шапочку, смятую у верха, но не до конца – смятость осталась. Я хмуро отвернулся. Что-то раздражало. Или просто свет слишком ярок и режет глаза? Я поерзал и, бросив быстрый взгляд на Алексея Николаевича, наконец-то понял: злил смятый верх. Я со злобой смотрел на него, на дурацкий белый колпак и чувствовал, как хочется встать, ударить или заорать, чтобы поправил. Неужто сам не замечает?! Мелькнула глупая мысль – встать и поправить самому. Ну и рожа у него, наверно, тогда будет!

Изнывая от этих глупых, но навязчивых желаний, я беспокойно ерзал, потирая прищемленный палец. А Алексей Николаевич, убрав бумаги, задумчиво поднял руку, словно услышав меня. Я затаил дыхание, но рука неожиданно замерла на полпути. И, будто забыв, что хотел, он опустил ее и рассеянно почесал подбородок. Меня чуть не взорвало. И-Д-И-О-Т!!! Да поправишь ты когда-нибудь свой долбаный колпак?! Меня затрясло от бешенства, от ненависти к этому откормленному коту в халате, и, захлестнутый ею, я вначале не расслышал, как он что-то сказал мне.

– Саш, ты слушаешь?

Я вздрогнул и очнулся. Алексей Николаевич повторил:

– Твой основной шанс, скажу честно, – срочная операция. Иначе, если пойдут метастазы, можем опоздать. На операцию же согласен?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.